

Апофегей

Автор:

Юрий Поляков

Апофегей

Юрий Михайлович Поляков

Что происходит с человеком, когда он устремляется на покорение карьерных высот? И какую цену приходится платить за стремительное восхождение?

Это книга об амбициях властолюбцев и о тех, кто попал во власть случайно. И еще, конечно, о любви.

Юрий Михайлович Поляков

Апофегей

Источник твой да будет благословен, —

и утешайся женою юности твоей,

любезною ланью и прекрасною серною:

грудь ея да упоют тебя во всякое время,

любовью ея услаждайся постоянно.

...Когда, сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил считать научно-практическую конференцию открытой, в этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума.

К сведению: Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту бывшего лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, ибо некогда выпало Бусыгину учиться в Высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило-таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком.

...Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика – секретаря парткома пединститута профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая, словно чайка на волнах, достигла середины зала.

Между прочим, научно-практическая конференция (в афишах почему-то значилось «научно-теоретическая») «Возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения» проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина, конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек Бусыгин пообещал ответить на любые, даже непарламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до гулкости ДК «Знамя» заполнился настолько, что сидели даже в проходах.

...Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубил юпитеры, приберегая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрителный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим – просторный, как песнь ашуга, основной доклад профессора Желябьева, записку наконец прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, затем и посаженный в первый ряд, принял вчетверо сложенную тетрадочную страничку, оглядел ее и с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящичек, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая икебанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует свежий ветер обновления и поистине революционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности.

Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись: мол, конференция еще, считай, не началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несомненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю съестными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был и еще один, особенный, оттенок: дескать, что ни говори, а от первого лица мно-о-гое зависит!

Пока Бусыгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток, заманчивой походкой манекенщицы вышла сотрудница сектора учета райкома партии Аллочка Ашукина, которую неизменно отмобилизовывали для работы с записками на сцене, и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал: «А записочки пусть носит эта... хорошенькая». И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что, кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше- и нижестоящих товарищей, есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой закваски, скромным, непритязательным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если б ему вдруг предложили: Владимир Сергеевич, выбирай – черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, еженедельная неподъемная «авоська», спецдача, спецмедобслуживание, спецзагранкомандировки, с одной стороны, или обыкновенный, цвета слоновой кости телефон с маленьким золотеньким гербом

державы на диске, – он, Ковалевский, сказал бы не задумываясь: «Телефон!»

БМП, с маху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче, – Ашукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей... И вот Аллочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась, так, что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон-сердечко, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не подымая тщательно подведенных глаз, она положила ее перед Бусыгиным, который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников.

Отметим: как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно озаботился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подскочил инструктор горкома. Иванушкин, взяв его за пуговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех самых пор, пока Аллочка не вернулась к столику стенографисток. Лет десять назад, когда Ашукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, у них была некая история, чуть не стоившая Иванушкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу: русые кудри, конопушки и добрые синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, он получил забавное прозвище: «Убивец»... Но об этом позже.

Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусыгин взял записку, повертел в руках и прочитал: «Тов. Чистякову В. П. (лично)». БМП удивленно поднял правую бровь, сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на усталом лице. Во взгляде Бусыгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся преемник, похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике.

Записка по рукам двинулась к Валерию Павловичу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выражение, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Чистяков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая, словно раковая опухоль, разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии...

Рядышком с Чистяковым сидел зампред райисполкома Василий Иванович Мушковец – тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянной порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал, заслонившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же рисовал многоцветной японской авторучкой исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдоподобно, что, казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей щелкнет с листа и защекочет за шиворотом.

Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены, в зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задушено. До прихода БМП, разумеется. Валерий Павлович и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем, который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней (о ее существовании шоферы и не ведали), а иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходились семьями и расписывали «пульку». До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, сплетничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусыгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет «неразлучной парочки заговорщиков». С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, Мушковец вынужден был сесть на единственный свободный стул рядом с Чистяковым.

Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерию Павловичу, тихо спросил:

– От кого?

– Не знаю, – отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал:

«Уважаемый Валерий Павлович!

Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с Вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу Вас во время перерыва подойти к стенду «Досуг в районе». Буду ждать.

Н. А. Печерникова»

Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове «Вами» строчная буква «в» была аккуратно исправлена на прописную.

– Печерникова... – встревожился Мушковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома. – Печерникова... Кто это?

– Не знаю, – пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своим рано и красиво поседевшим волосам.

– Только не надо из меня барбоса делать! – тихо возмутился Василий Иванович. – Не надо мне свистеть, что это очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается! Чего она хочет? Сейчас все опасно! Ты посмотри на БМП, это же не человек, это машина для отрывания голов...

Мушковец шептал страстно, но замерев лицом и не разжимая губ, точно чревовещатель, а Чистяков в ответ размеренно кивал головой, будто бы речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией.

– Печерникова... Печерникова... – тужился вспомнить Мушковец. – По жилью она у меня не проходит. Кто такая?

– Понятия не имею, – спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.

* * *

Двенадцать лет назад Надя Печерникова и Валера Чистяков чуть-чуть не поженились. Он в ту пору был аспирантом кафедры истории СССР, собирал материалы для диссертации об аграрной политике социалистов-революционеров, жил в общежитии в одной комнате с Юркой Иванушкиным, последними словами костерил администраторов и пустолобов от науки, тормозивших утверждение темы, и если бы кто-нибудь в ту пору нагадал ему судьбу удачливого партийного кадра, то Чистяков только бы рассмеялся и посоветовал предсказателю больше не похмеляться техническими спиртовыми растворами.

Надя Печерникова поступила в аспирантуру годом позже. Она, как и Валера, сначала поработала учителем старших классов и школьную программу по истории называла не иначе как «Сказки тетушки КПСС», с чем будущий секретарь райкома партии по идеологии был полностью согласен. Надя собиралась писать о реформах Столыпина, имела о знаменитом премьер-министре и его заслугах перед Отечеством свое собственное, отличное от общепринятого, мнение, менять его не собиралась, на компромиссы идти не желала, из-за чего, собственно, и не задалась впоследствии ее научная карьера. О таких людях, как Печерникова, Василий Иванович Мушковец говорил: «По белой нитке ходит!»

До сих пор Чистяков отлично помнил первое появление Нади. Осенью 1976-го, после каникул, собрали заседание кафедры, совершенно уникальное по занудству и тягомотности, где обсуждали проект плана работы на новый учебный год, скучно спорили по каждому пункту, и Желябьев, тогда еще доцент и секретарь партийного бюро факультета, в сердцах даже надерзил заведующему кафедрой профессору Заславскому, хотя, впрочем, все отлично понимали: как только план утвердят, сначала про него на несколько месяцев просто забудут, а потом приторможенная лаборантка Люся потеряет все до единого экземпляры.

Надя вошла в комнату в тот самый момент, когда доцент Желябьев хорошо поставленным лекторским голосом доказывал, что неумение планировать исследования – бич советской науки. Все оглянулись на застывшую в дверях девушку, одетую в тугие вельветовые джинсы и свободную кофточку, волосы у нее были перехвачены обычной аптекарской резинкой, а через плечо болталась замшевая сумка с какой-то совершенно индейской бахромой. Доцент капризно

сморщил ухоженное личико и по-кошачьи махнул лапкой: мол, закройте, милочка, дверь с той стороны...

Однако бравый профессор Заславский неожиданно вскочил со своего председательского места, галантно приблизился к девушке, взял ее за руку и вывел на середину комнаты, как в театре выводят на авансцену якобы засмущавшуюся приму.

«Это наша новая аспирантка Надежда Александровна Печерникова!» – представил он. «Извините... Я очень долго ждала троллейбус...» – смущенно проговорила Надя.

Кафедральные старички тут же со знанием дела оглядели и оценили гостью. О старая профессорско-преподавательская гвардия! В тридцатые – пятидесятые они не пропускали мимо ни одной смазливой аспиранточки, влюблялись с размахом и безоглядно, щедро оставляя бывшим женам квартиры на улице Горького со всем антикварным хламом, унося в новую жизнь только маленькие чемоданчики с бельем да связочки любимых книг. Это они, они воздвигли в столице первые кооперативные квартиры! Теперь таких застройщиков давно уже нет, так как профессорского жалованья с трудом хватает и на одну семью...

Потом, все еще держа новую аспирантку за руку, профессор Заславский сообщил, что писать сия отважная девица собирается о Петре Аркадьевиче Столыпине. Кафедральные старички с пониманием переглянулись: в молодости они тоже мечтали стать честными летописцами эпохи, но хотелось бы знать, что понаписал бы тот же Нестор, когда б у него за спиной дежурил сержант НКВД с наганом. А доцент Желябьев покачал головой и с нежной грустью поглядел на симпатичную дурочку, которая наивно полагает, что историки пишут чепуху исключительно по причине незнания истории...

Наконец профессор Заславский усадил Надю рядом с Чистяковым, по-мужски подмигнул Валере и предложил продолжить обсуждение плана. Надя достала из сумки новенькую общую тетрадь, с треском раскрыла ее и ровным учительским почерком вывела: «Заседание кафедры», подчеркнула написанное двумя линиями и поставила знак вопроса, а потом, подумав немного, обвела все это узорчатой рамочкой.

Тем временем профессор Заславский, распушив хвост, начал рассказывать про то, как некогда ездил во Владимир к знаменитому монархисту Шульгину. «Неужели умный человек может быть монархистом?!» – перебил заведующего кафедрой доцент Желябьев. «Почему бы нет, если умный человек может быть сталинистом!» – покосившись на Надю, парировал Заславский, в свое время чуть было не загремевший по делу космополитов и низкопоклонников.

Но Чистяков не вслушивался в завязавшийся спор, он, рискуя нажать косоглазие, старался получше разглядеть новую аспирантку: у нее были смуглое лицо, нос с горбинкой и странная манера прикусывать нижнюю губу для того, чтобы скрыть ненужную улыбку.

Надя тем временем изобразила на страничке запутанный лабиринт со множеством коридоров и одним-единственным выходом. Чистяков настолько увлекся этим рисунком, что забылся и совсем уж неприлично уставился в ее тетрадь. «Вас как зовут?» – спросила она и повернула тетрадь так, чтобы ему удобнее было разглядеть рисунок. «Валерий Павлович...» – ответил Чистяков, уже отравленный академическими церемониями. Надя почтительно посмотрела на него, прикусила губу и объяснила: «Это тест. Нужно выбраться из лабиринта...» – «Зачем?» – тупея от непонятого волнения, спросил он. «А это, Валерий Павлович, я вам потом объясню...»

Чистяков немного подумал и твердо проложил авторучкой путь к единственному выходу, только возле одной развилки он малость замялся и двинулся, ожидая подвоха, не короткой дорогой, а наоборот – самой длинной. «М-да, – нахмурилась Надя, что-то прикидывая. – Значит, так: вас, Валерий Павлович, ждет блестящая научная карьера, но в личной жизни, боюсь, не повезет». – «А если бы я пошел другим путем?» – заволновался Чистяков. «Ну-у, тогда бы у вас была роскошная личная жизнь и большие трудности в науке! – сообщила Надя и добавила: – Но первое слово дороже второго!...»

Услыхав это трогательное детское присловье, он наконец решился и посмотрел ей прямо в глаза – большие, светло-карие и абсолютно несерьезные.

«...А вы знаете, что говорил мне Шульгин на прощанье? – вдруг возвысил голос профессор Заславский и ревниво обратился к новой аспирантке: – Вы, голубушка Надежда Александровна, тоже послушайте! Он сказал мне, что во избежание будущих смутных времен нужно в СССР ввести наследование политической власти. Династию!...» – «Мифологическое мышление!» – усмехнулся Желябьев.

«Мышление! – вполголоса согласился доцент. – Мышление старого склеротика...» Поскольку направленность этих слов, как выражаются ученые, была амбивалентна, вся кафедра тревожно замерла, ожидая взрыва...

«Апофегей», – наклонившись к Чистякову, доверительно прошептала Надя. «Что?» – не понял Валера. «Я говорю, у вас здесь всегда так?» – «Почти всегда...» – «Полный апофегей!»

Томительное беспокойство, поселившееся в душе после того памятного заседания, Чистяков, полагавший себя достаточно опытным мужчиной, квалифицировал как легкое влечение к новой хорошенькой аспирантке. Это была ошибка: он жестоко влюбился.

Потом почти полгода они встречались на лекциях, заседаниях кафедры, в институтской столовой, которую называли «тошниловкой», в Исторической библиотеке... Входя в большой читальный зал № 1, Валера почти сразу отыскивал среди десятков склонившихся над книгами голов ее перетянутый аптечной резинкой хвостик, усаживался поближе, как бы невзначай встречался с ней глазами, потом они вместе шли в буфет или курилку и разговаривали – обо всем: о полном маразме профессорско-преподавательского состава, о явных переменах в интимной жизни студентов (на последней лекции они сидели не в той комбинации, как прежде), о стрельбе по-македонски, об уморительной оговорке, которой порадовал общественность на недавнем пленуме державный бровеносец... Надя ко всему на свете, включая собственные неприятности, относилась иронически. «Надо быть большим пакостником, – говорила она, имея в виду Бога, – чтобы в конце до слез забавной жизни поставить такую несмешную штуку, как смерть... А может быть, это тоже юмор, только черный?!»

Аспирантам второго года обучения родина иногда доверяла ведение семинарских занятий. Однажды, когда Чистяков, изнемогая от чувства собственной значимости, выяснял, что же осталось от лекций в головах студентов третьего курса, доцент Желябьев зачем-то привел в аудиторию несколько аспирантов и среди них – Надю. Потом, в «исторической» курилке, она как бы между прочим сообщила, что, по ее наблюдениям, на Валерия Павловича «запала» студентка Кутепова, дочка крупного партийного босса. Надя настоятельно советовала воспользоваться ситуацией и прорваться поближе к кормушке, которую в 1917-м отняли у помещиков и капиталистов, но потом как-то забыли передать рабочим и крестьянам.

С грустью и бессилием наблюдал Чистяков, как его отношения с Надей приобретают оттенок необратимого товарищества.

В те баснословные годы во дни торжеств народных на кафедре устраивались праздничные посиделки: сдвигались столы, из шкапа извлекалась зеленая скатерть, та самая, что использовалась и во время защит. Кафедральные мужчины доставали из портфелей водочку и коньячок, женщины – пирожки, огурчики, банки с салатами собственного приготовления. Во главе стола садился профессор Заславский, он и провозглашал первый тост за советскую историческую науку и ее подвижников – надо понимать, всех присутствующих. Правда, в конце гулянья, неизменно набравшись, он впадал в черную меланхолию и бормотал, что нет у нас никакой исторической науки – одна лишь лакейская мифология. Эта фраза являлась общеизвестным сигналом – и самый молоденький аспирант мчался ловить такси, потом происходили торжественный вынос профессорского тела и бережная укладка оногo в автомобиль. А посиделки продолжались до тех пор, пока не вваливался комендант здания, отставной подполковник, и заявлял, что пора, дескать, и честь знать, что даже кафедра научного коммунизма уже по домам разошлась; ему наливали стакан, он выпивал, давал еще полчаса на «помывку посуды и приборку помещения», после чего грозился опечатать кафедру со всеми ее сотрудниками.

Тогда, в апреле, все произошло по этой раз и навсегда укоренившейся традиции. Сначала коллектив кафедры, дружно вышедший на субботник, жег прошлогоднюю листву и разбирал завалы мусора, оставленные строителями, которые осенью всего-навсего подкрасили фасад флигеля, где располагался исторический факультет. Потом появилась зеленая скатерть-самопьянка, как называла ее Надя, и профессор Заславский поднял первый тост... После того как комендант пообещал опечатать помещение и еще почему-то вызвать милицию, доцент Желябьев предложил Печерниковой и Чистякову поехать к нему в гости, «на холостяцкое пепелище», и продолжить праздник!

Доцент поймал частного, по пути они заскочили в детский сад, там, оказывается, тоже был субботник, и прихватили с собой юную воспитательницу. В недавнем прошлом супругой Желябьева состояла самая молодая в республике докторша наук, ушедшая от него к члену-корреспонденту, выступавшему оппонентом на ее защите. С тех пор, по мнению Нади, доцент получил какой-то чисто фрейдистский комплекс и теперь мог общаться исключительно с женщинами элементарных профессий. Воспитательница – ее имя Чистяков давно забыл – смотрела своему ученому другу в рот и громко прыскала в ответ на

каждую его шуточку или даже обычно сказанное слово.

Трехкомнатное «холостяцкое пепелище» располагалось в большом сером доме на проспекте Мира. Валера, до окончания школы теснившийся вместе с родителями и сестрой в пятнадцатиметровой комнате заводского общежития, где, дабы поутру попасть в уборную, нужно было потоптаться в очереди, потом два года живший в казарме, затем пять лет занимавший койку в четырехместном номере студенческой общаги, а теперь вот сибаритствовавший в аспирантском общежитии, имея под боком всего одного соседа, попадая на такую необъятную, по его представлениям, жилплощадь, начинал мучиться страшной завистью и самой настоящей классовой неприязнью.

Желябьев происходил из потомственной профессорской семьи; в комнатах стояла хорошая красная мебель с завитушками, на стенах висели картины в золоченых багетах и старинные фотографии в деревянных рамочках, а над бескрайней гостиной нависала огромная люстра, хрустальная, почти такая же, как и в актовом зале их родного педагогического института, где до революции располагался пансион благородных девиц.

«Это – Мурильо! – кивнул Желябьев на одну из картин, изображавшую Мадонну с озорничающим богочеловеком. – А это – мой дед, приват-доцент Московского университета». – «Какого? – съязвила Надя. – В Москве было два университета...» – «Имени Патриса Лумумбы, – меланхолично пошутил доцент и по-кошачьи махнул ручкой. Потом он открыл бар, внутри которого тут же зажглась лампочка и заиграла музыка. – Расширим сосуды и сдвинем их разом!»

Болтали о кафедральных делах, травили анекдоты, Желябьев рассказал смешную историю о том, как во время защиты его бывшей жены комендант привел в актовый зал команду тараканоотравителей в белых халатах, марлевых повязках и с опрыскивателями в руках. Кто-то что-то перепутал. Слабенькая воспитательница внимательно слушала, хихикала и безуспешно старалась подцепить с тарелки скользкий маринованный гриб, после очередной неудачи она удивленно подносила к глазам и недоверчиво рассматривала вилку.

Потом доцент, писавший докторскую о гражданской войне на Украине, ни с того ни с сего сообщил, что, по его глубокому убеждению, Нестор Иванович Махно напрасно повернул тачанки против Советской власти, осерчав на нехорошее отношение комиссаров к крестьянам. Если б не этот глупый шаг, батька так и остался бы легендарным героем, вроде Чапая, кавалером ордена Красного

Знамени, а Гуляйполе вполне могло называться сегодня Махновском. «А тамошние дети, – подхватила Надя, – вступая в пионеры, клялись бы: „Мы, юные махновцы...“

Отсмеявшись, Желябьев посерьезнел и сообщил, что все это, конечно, так, но время для подобной информации еще не пришло и вообще народное сознание не сможет переварить всей правды о гражданской войне. «Во-первых, – без тени улыбки возразила Надя, – народное сознание – не желудок, а во-вторых, не нужно делать из народа дебила, который не в состоянии осмыслить то, что сам же и пережил!» Доцент в ответ только покачал головой и выразил серьезные опасения по поводу научных перспектив аспирантки Печерниковой. Потом с галантностью потомственного интеллигента он предложил совершенно одуревшей от алкоголя и светского обхождения воспитательнице пройти в другую комнату и взглянуть на уникальное издание Энгельса с восхитительными бранными пометками князя Кропоткина. Они удалились в библиотеку.

Надя, прикусив губу, разглядывала фамильный серебряный нож с ручкой в виде русалки, а Чистяков, потея от вожделения и смущения, вдруг придвинулся к ней и неловко обнял за плечи. «Мне не холодно», – спокойно ответила она, удивленно глянула на Валеру и высвободилась. Они посидели молча. В библиотеке что-то тяжело упало на пол. «Полный апо-фегей!» – вздохнула Надя. «Что?» – «Это я сама придумала, – объяснила она. – Гибрид „апофеоза“ и „апогея“. Получается: а-по-фе-гей...» – «Ну и что этот гибрид означает?» – спросил Чистяков, непоправимо тупевший в присутствии Печерниковой. «Ничего. Просто – апофегей...» – «Междометие, что ли?» – назло себе же настаивал Валера. «До чего доводит людей кандидатский минимум!» – вздохнула Надя и пригорюнилась. Чистяков почувствовал, как по всему телу разливается сладкая обида. В соседней комнате разбили что-то стеклянное.

«Ты думаешь, я не умею врать?! – вдруг горячо заговорила Надя. – Умею! Знаешь, как роскошно я врала в детстве? Меня почти никогда не наказывали – всегда отвиралась. Однажды я была на дне рождения у подружки и сперла американскую куклу, такую потрясающую блондинку, с грудью, попкой – не то что эти наши пластмассовые гермафродиты. А когда меня застукали, я снова отовралась: сказала, будто бы кукла сама напросилась ко мне в гости... Теперь-то я понимаю, родители боролись за сохранение семьи, и я была их знаменем в этой борьбе. А как выпорешь знамя? Но ведь так вели себя родители по отношению ко мне, глупой соплячке. А когда то же самое делается по отношению к взрослым, серьезным людям! Ты что-нибудь понимаешь?» – «Не

понимаю», – сказал Чистяков и положил на ее колено свою ладонь. Надя терпеливо сняла неугомонную руку, определила ее на собственное чистяковское колено, потом, покосившись на дверь, из-за которой доносились теперь голубиные стоны, сообщила, что у Валерия Павловича нездоровое чувство коллективизма.

Вернулись сладострастники. Воспитательница озиралась расширенными глазами и неверными движениями поправляла растрепавшуюся прическу, а у Желябьева был вид человека, очередной раз проигравшего в лотерею.

Глубокой ночью Валера провожал Надю домой. Шли пешком по проспекту Мира. Ночные светофоры мигали желтыми огнями, и казалось, они передают по цепочке некое спешное донесение, может быть, о том, как аспирантка Печерникова поставила на место неизвестно что себе вообразившего аспиранта Чистякова.

По дороге Надя рассказывала, что живет в Свиблово, в однокомнатной «хрущобе», вместе с мамульком (почему-то именно так она называла свою мать). Отец, нынче директор здорового НИИ, ушел от них очень давно, мамулек многие лета изображала из себя эдакую свибловскую Сольвейг, но теперь у нее наконец-то начался ренессанс личной жизни, кватроченто... В этой связи планы у Нади такие: выдать мамулька замуж за образовавшегося поклонника, а уж потом и самой заарканить какого-нибудь потомственного доцента, вроде Желябьева, и обеспечить себе человеческую жизнь в том идиотском обществе, которое рождено, чтоб Кафку сделать былью; подарить мужу наследника, а затем уж заняться настоящей личной жизнью – изменять с каждым стройным, загорелым мужиком, катающимся на горных лыжах или, на худой конец, играющим в большой теннис...

Чистяков слушал Надину болтовню и чувствовал в сердце холодную оторопь. Он-то, за свои двадцать семь лет знавший девиц и жен без числа, прекрасно понимал: весь этот легкомысленный попутный щебет – на самом деле вполне серьезное признание в дружбе и одновременно объяснение в нелюбви...

В сентябре, как обычно, поехали «на картошку» в Раменский район, студенты – работать, аспиранты и молодые преподаватели – надзирать за ними. Жили в типовых щелястых домиках, построенных специально для сезонников и прозванных почему-то «бунгало». Каждое утро, в восемь часов, после завтрака, о котором можно было сказать только то, что он горячий, полтора часа студентов

под предводительством десятка бригадиров-аспирантов плелись на совхозное поле, чтобы выковыривать из земли и сортировать «корнеплод морковь» – именно так значилось в нарядах. Чистякову поручили руководить ватагой грузчиков – крепких парней-первокурсников, поступивших в институт сразу после армии. Они разъезжали по полю на полutorке и втаскивали в кузов гигантские авоськи, набитые «корнеплодом морковь», вызывавшим почему-то у греющихся на солнышке спозаранку пьяных совхозных аборигенов исключительно фаллические ассоциации.

А вечером собирались на ступеньках какого-нибудь «бунгало» и пели под гитару замечательные песни, от которых наворачивались сладкие слезы и жизнь обретала на мгновения грустный и прекрасный смысл.

Чистяков умел играть на гитаре. Давным-давно, когда Валера учился в школе, к ним в класс заявился мужичок с балалайкой. Он исполнил русскую народную песню «Светит месяц, светит ясный» и призвал записываться в кружок струнных инструментов, организованный при Доме пионеров. Валера записался, походил на занятия около года и немного выучился играть на балалайке-секунде, а когда через пару лет началось повальное увлечение гитарами, успешно применил свои балалаечные навыки к шестиструнке. Правда, собственного инструмента выцыганить у родителей так и не удалось, но сосед по заводскому общежитию имел бренькающее изделие Мытищинского завода щипковых инструментов, при помощи которого они разучивали и исполняли разные песни:

В белом платье с по-яс-ко-ом

Я запомнил образ тво-ой...

Потом, на первом курсе педагогического института, Валера посещал театральное отделение факультета общественных профессий, руководимое каким-то отовсюду выгнанным, но очень самолюбивым деятелем. Этот режиссер-расстрига бесконечно ставил «Трех сестер» и постоянно грозился сделать такой спектакль, что «все эти творческие импотенты из разных там мхатов сдохнут от зависти». Чистяков должен был играть Соленого, а Соленый, в свою очередь, должен был появляться с гитарой, напевая жестокий романс. Соленого Валера так и не сыграл, потому что режиссера погнали за освященное многовековой традицией, но не уважаемое законом влечение к юношам. Зато жестокие романсы петь выучился.

Там, «на картошке», Чистяков не уступал одетым в штормовки, бородатым и хрипатым под Высоцкого первокурсникам. «Валерпалыча на сцену! – кричала студентка Кутепова. – Валерпалыч, миленький, – „Проходит жизнь“! Ну пожалуйста!» Чистяков обреченно вздыхал, поднимался на крылечко «бунгало», брал гитару с еще теплым от чужих рук грифом, пробовал струны, хмурился, качал головой, начинал было настраивать инструмент, а потом вдруг – несколько резких аккордов, и:

Проходит жизнь, проходит жизнь,

Как ветерок по полю ржи,

Проходит явь, проходит сон,

Любовь проходит, проходит все...

Но я люблю. Я люблю. Я люблю...

А для аспирантки Печерниковой, совершенно не отличавшейся от студенток в своем длинном, почти до колен свитере и модном, по-селянски повязанном платке, Валера каждый божий вечер пел ее любимую вещь:

Молода еще девица я была,

Наша армия в поход куда-то шла,

Вечерело. Я стояла у ворот —

А по улице все конница идет...

«Потрясающая точность деталей! – совершенно серьезно, без обычной иронии восхищалась Надя. – Огромная русская армия, растянувшись, ползет через маленький уездный городишко. Вечер, а еще не кончился даже конный авангард! Роскошно, правда?»

В черном холодном небе плыла луна, воздух пах ошеломляющей осенней прелью, и Чистяков пел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а душа томится предчувствием единой для всех людей счастливой и безысходной доли:

Вот недавно – я вдовой уже была,

Четверых уж дочек замуж отдала, —

К нам заехал на квартиру генерал,

Весь простреленный, так жалобно стонал...

«Четырех уж девок замуж отдала! Какая потрясающая точность деталей!..» – передразнивала ехидная студентка Кутепова.

В одиннадцать вечера студентов гнали спать, они, естественно, ерепенились, заявляли, что, будучи взрослыми, дееспособными людьми, сами могут решать, когда им ложиться спать, с кем и ложиться ли вообще, что дома они именно так и поступают. Им, разумеется, отвечали, что они не дома, что из-за их ослиного упрямства и ребячества страдает производительность труда, не высыпаятся бригадиры и что за нарушение производственной дисциплины можно запросто вылететь из вуза, куда они только-только с таким трудом поступили.

Потом нужно было с фонарями досматривать «бунгало», высвечивать каждую кровать, чтобы в девичьих помещениях не было парней, – и наоборот. Студентка Кутепова, целомудренно закрывшись одеялом до подбородка, во время каждого такого обхода плаксиво объявляла, будто дома не засыпает вообще, пока папа не поцелует ее в лобик, и требовала, чтобы именно Валерпалыч был ей «заместа отца родного». Под общий хохот Чистяков целовал ее в пахнувший пудрой лоб, и она тут же прикидывалась спящей.

Уложив студентов, аспиранты и преподаватели собирались в штабном «бунгало», пили чай и вино, валяли дурака, хохотали, а то вдруг начинали до хрипоты спорить о том, например, что означает фраза Чаадаева «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его враги». Или же разговор уходил в совершенно другую сторону, и аспирант кафедры фольклористики, «сокамерник» Чистякова по общежитию, Юра Иванушкин, старательно акая или окая, рассказывал срамные сказки Афанасьева, пел остросексуальные частушки и однажды уморил общественность, сообщив исконно народную классификацию достоинств мужского имущества: «щекотун» – «запридух» – «подсердечник» – «убивец». С тех пор Иванушкина так и прозвали – Убивец. Он тогда канал под пейзажника и показательно презирал всех, имеющих московскую прописку. «Вам-то, столичным, – причитал Убивец полудурашливо-полусерьезно, – все само в рот лезет. Опять-таки ЦПКиО имени Горького, гастроном имени Елисеева, метро имени Кагановича... А попробуйте-ка в школу за десять верст по первопутку побегать... В страну знаний! Волки: у-у-

у!» Валера, ходивший в школу через дорогу, в самом деле начинал себя чувствовать зажавшимся барчуком или, как выражаются в армии, человеком Московской области, сокращенно – ЧМО.

Только потом, через год-два, совсем случайно, подмахивая характеристику, он узнал: жил Убивец в приличном районном центре, родитель его работал ни много ни мало директором крупного мясомолочного комплекса, а мать начальствовала во Дворце культуры. Элита, правда уездная...

Спать расходились обычно часа в два-три, а в семь уже вскакивали, умывались ледяной водой и, вибрируя от утреннего холода, расталкивали невменяемых сонных студентов, которые втихаря тоже колобродили всю ночь. И ведь ничего: завтракали и, как выражалась Надя, бодренько отходили в поля, трудились, а вечером все начиналось сначала. А теперь вот поспишь вместо положенных восьми часов, скажем, шесть, и целый день скрипишь так, словно тебя палками отвалтузили.

На правах сокафедренника каждую ночь Чистяков провожал Надю до «бунгало», раскланивался и с протокольной учтивостью пожимал на прощанье ее прохладную руку. Мысль о том, что она снова может одним недоуменным движением освободиться от его вахлацких объятий, заранее вгоняла Валеру в краску и парализовывала все желания. Наде в ту пору нравилось изображать увиденную в каком-то идиотском фильме молодую революционную женщину, до беспамятства влюбленную в слово «товарищ». «До свидания, товарищ! – говорила она на прощанье понурому Чистякову. – Товарищ, выше голову! Скоро восстанет пролетариат Германии, товарищ!..» Этим все и заканчивалось.

Однажды, кажется за неделю до окончания сельхозработ, в поле случилось ЧП – внезапно кончилась тара, те самые гигантские авоськи, только теперь для «кочанной культуры капусты». Материально ответственный начальник совхозного склада запил, жена выгнала его из дому, и он исчез вместе со связкой ключей от сарая, где хранилась тара. Работа встала, студенты разбрелись кто куда, и тогда Чистякова отправили ходоком к начальству в центральную усадьбу, поручив заодно купить аспирина и еще чего-нибудь для простудившейся Наденьки Печерниковой.

Валера на попутке добрался до дирекции, устроил там бурю, обещал всех снимать с должностей и настойчиво спрашивал, где у них тут телефон, чтобы позвонить в обком партии, хотя, честно говоря, в те времена имел смутное

представление о том, что это такое, если не считать Надиного выраженьица: «Обком звонит в колокол». Встревоженные буйным аспирантом, всуе упоминающим священную аббревиатуру, совхозные начальники стали названивать в свое неблагополучное подразделение, подняли всех на ноги – и кладовщик был найден: он спал в том самом сарае на тех самых авоськах за дверьми, запертыми снаружи на большой амбарный замок, причем связка ключей мистически оказалась в кармане его телогрейки.

Уладив производственный конфликт, Чистяков заглянул в аптеку, добыл аспирин и горчичников, в сельпо ему «свешали» полкило засахарившегося, похожего на топленое масло меду, а в книжном магазине рядом с автобусной остановкой в свалке произведений писателей-гертруд (так Надя называла Героев Социалистического Труда) он нашел книжечку своего любимого Бунина с несколькими рассказами из «Темных аллей».

В лагере было пустынно, только с кухни слышались смех и запах подгоревшей гречки: кашеварили первокурсники, которые и яичницу-то толком поджарить не умели. У забора два упитанных серых кота, сблизив морды, зловеще гундели, но не решались начать драку.

Надя, очень серьезная, лежала в постели и читала с карандашом в руке, на ней был свитер, она была бледнее, чем обычно, губы запеклись. Чистяков с больничными предосторожностями скорбно присел на край кровати, положил на тумбочку лекарства, мед и проговорил: «Бедная Надежда Александровна!» – «Ничего, товарищ! Я вернусь в строй, товарищ!» – улыбнувшись, отозвалась она охрипшим голосом. «Может, еще чего принести?» – спросил Валера. «Большое вам спасибо, товарищ!» – вымолвила Надя и закашляла. «Пожалуйста», – ответил Чистяков и машинально, проверяя температуру, приложил ладонь к ее лбу, и вдруг ему почудилось, что Надя не отстранилась, а, наоборот, чуть-чуть даже подалась навстречу его руке. «Тридцать восемь, – пробормотал он и, словно убеждаясь, провел пальцем по ее щеке. – Определенно тридцать восемь...» И тогда Надя, повернув голову, коснулась шершавыми губами его ладони. Чистяков почувствовал в теле какую-то глупую невесомость и наклонился к Наде, но она отрицательно замотала головой, отчего ее не скрепленные обычной аптекарской резинкой волосы разметались по подушке: «Нельзя, товарищ... Инфлюэнца!» Даже в такую минуту она дурачилась. Валера ладонями сжал ее лицо и поцеловал прямо в сухие губы. «Не надо же... Войдут!» – прошептала она. Чистяков на ватных ногах прошагал к двери, набросил крючок и вернулся. Под свитером кожа у нее была горячая и потрясающе нежная. «Занавески,

товарищ!» – обреченно приказала Надя, и Валера пляшущими руками задернул шторы с изображением слонов, перетаскивающих бревна. «Товарищ, что вы делаете, товарищ!» – шептала она, обнимая его. – Боже мой, в антисанитарных условиях!» Старая панцирная сетка, совершенно не рассчитанная на задыхающегося от счастья Чистякова, гремела, казалось, на весь лагерь. А в то мгновение, когда они стали «едина плоть», Надя прерывисто вздохнула и тихонько застонала... Через несколько дней, возвращаясь на автобусах в Москву, сделали в дороге вынужденную остановку: мальчики – налево, девочки – направо. Рядом с Чистяковым пристроился Убивец. «А ты, Чистюля, шустрый мужик!» – сказал он. «Не понял», – отозвался Валера. «Вестимо, – согласился Иванушкин. – Перетрудил головку-то...» Застегнулся и пошел к автобусу.

После этого разговора счастливые обладатели друг друга посовещались и решили вести себя так, чтобы никто не догадывался об их отношениях, и не потому, что боялись, а просто не хотелось ловить на себе любопытствующие взгляды одряхлевших сексуальных террористов тридцатых годов и слушать их туманные рассуждения про то, что последнюю кафедральную свадьбу играли в 1959-м. «Конспирация, конспирация и еще раз конспирация!» – с исторической картавинкой повторяла Надя.

Печерникова и Чистяков церемонно раскланивались, встречаясь возле дверей факультета, на заседаниях кафедры садились в разных углах комнаты, обедали порознь, даже старались на людях реже приближаться друг к другу, ибо в сущности были очень похожи на два металлических шара из школьного опыта: сдвинь их чуть поближе – и грянет молния...

Валера, наверное, совсем потерял бы голову, но ему приходилось постоянно ломать ее над вечным вопросом влюбленного советского человека: «Где?» Очень редко, когда Убивец уезжал в свой Волчехвостск к родителям подхарчиться, просачивались в аспирантское общежитие, но Иванушкин имел пакостную привычку приезжать совсем не в тот день, в какой обещал заранее, поэтому следовало быть начеку, а это, как известно, не способствует. Воротясь с большой спортивной сумкой, полной жратвы, Убивец щедро угощал Чистякова и, глядя, как тот ест, задумчиво рассуждал о том, что научные работницы, должно быть, очень темпераментны: потому что ведут сидячий образ жизни и кровь у них застаивается в малом тазу. Валера, уминая чудную колбасу, которая, по словам Убивца, прямо с папашиного комплекса шла на стол членам Политбюро, не моргнув глазом отвечал, что по этой теории самыми сексуальными являются сотрудницы сберегательных касс. «Почему?» – удивлялся Иванушкин. «Потому

что деньги вообще возбуждают», – отвечал Чистяков. «Вестимо», – соглашался Убивец и, нагнувшись, подбирал с пола оброненную Надину шпильку.

Иногда Бог посылал ключи от чьей-то временно пустующей квартиры, и Валере нравилось, как тщательно всякий раз Надя прибирается перед возвращением хозяев, стирая малейшие следы их великой и простой дружбы, точно сами хозяева и не догадываются, зачем оставляют ключи Двум молодым влюбленным пингвинам. И только в самых исключительных случаях, когда молния готова была жахнуть среди бела дня в многолюдном месте, они ехали в Надину «хрущобу» и полноценно использовали те два часа, которые мамулек проводила со своим новым спутником жизни в синематографе. Это у них называлось «скоротечный огневой контакт». Как у Богомолова в «Августе сорок четвертого».

Надя очень любила всему, в том числе и самому-самому, придумывать смешные прозвища и названия, из чего постепенно и складывался их альковный язык: нельзя же размножаться, как винтики, молчаливой штамповкой! Так, например, осязаемое вождение Чистякова именовалось – «Голосую за мир». Упоительное совпадение самых замечательных ощущений получило название «Небывалое единение всех слоев советского общества», сокращенно «Небывалое единение». Последующая физическая усталость – «Головокружение от успехов», регулярные женские неприятности – «Временные трудности», а различного рода любовные изыски – «Введение в языкознание».

Однажды мамулек вкупе с другом жизни на целый день уехала в Загорск – приобщаться к благостыне истинной веры. Наши герои-любовники, естественно, решили воспользоваться такой редкой возможностью и с комфортом разучить доставшийся им на два дня индийский трактат «Цветок персика» в красочном штатовском издании с картинками и установочными рекомендациями. Но вот в момент «небывалого единения» внезапно раздался звук отпираемой двери и послышались голоса в прихожей. «Опять что-нибудь забыли! – простонала Надя и, набрасывая халат, распорядилась: – Будешь знакомиться! Я их задержу...»

Торопливо и бестолково одеваясь, Чистяков слышал, как за дверью мамулек повествует о том, что на Ярославском вокзале случилась совершенно непонятная трехчасовая пауза между электричками и что в Загорск они решили поехать на будущей неделе, а сегодня посидеть просто дома. Надя пыталась внушить им, что существует еще, например, Коломенское, куда можно добраться на метро, работающем бесперебойно... Дольше держать мамулька и ее друга жизни в прихожей было неприлично, дверь начала медленно

приоткрываться, одевшийся Валера заранее изобразил на лице радость знакомства с родственниками девушки, за которой имеет счастье ухаживать, а в руки, чтобы скрыть дрожь и волнение, машинально взял «Цветок персика». На супере красовалась цветная фотография юной индийской пары, заплетенной в некий непонятный сладострастный узел. «А это мой коллега Валерий Павло... – светски начала Надя, но, увидев обложку, осеклась и, давась от хохота, смогла добавить только одно слово: – Апофегей!»

* * *

Профессор Желябьев добил воображаемого идейного противника большой ленинской цитатой и под ровный аплодисмент зала сошел с трибуны.

– Спасибо, Игорь Феликсович! – державно улыбнувшись, сказал Бусыгин и несколько раз энергично ударил в ладоши, показывая залу, как нужно благодарить докладчика за интересное выступление.

«Ковалевский, конечно, тоже воздал бы должное докладчику, но сначала глянул бы в программу, сверяя имя-отчество, а этот на память шпарит, душегуб!» – подумал Чистяков, мгновенно возвращаясь из Надиной «хрущобы» в большой зал ДК.

«Я очищу район от всей коррумпированной дряни! – Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии. – Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно...» Чистякова коробила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Словно прибыл БМП не из подмосковного городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму...

«А может быть, – размышлял Валерий Павлович, – нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было... А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у

БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя... Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями врагов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко...»

- Проснись и послушай! - Мушковец толкнул Чистякова в бок.

Валерий Павлович очнулся и напряг слух.

- Вот поэтому-то, - вещал БМП, - я и попросил профессора Желябьева написать свой доклад так, как подсказывает ему партийная совесть, и не показывать никому, даже секретарю райкома. А то, знаете, начеркают, насоветуют, люди потом слушают и ничего не понимают...

Зал захолопал. И докладчик пробирался на свое место в президиуме сквозь бесчисленные поздравительные рукопожатия. Желябьев всегда отличался нервической интеллигентской дисциплинированностью: приказывали - бегал согласовывать каждое слово, приказали быть самостоятельным - выполнил. Только откуда знать Бусыгину, что вчера вечером Игорь Феликсович тайно звонил Чистякову и слезно умолял просмотреть докладец хотя бы по диагонали, так, на всякий случай...

- Итак, - продолжал БМП, - научная база для серьезного разговора у нас имеется. Хорошая база. Без науки мы сегодня никуда. Но и без живого практического опыта тоже никуда. А носитель опыта - человек, конкретный человек! Вот давайте людей и послушаем. Разучились мы, по-моему, за последние годы людей-то слушать!..

Зал снова зааплодировал. Начались прения. Первым выступил директор Дворца культуры завода имени Цюрупы. У них там в актовом зале недавно вдребезги грохнулась большая хрустальная люстра, висевшая с прошлого века. Так вот, оратор сравнил падение культурных запросов трудящихся с падением этой самой люстры. Всем очень понравилось, и Бусыгин, пошептавшись с Иванушкиным, сделал какую-то пометку в блокноте. Хмурый официант, похожий на огромного стрижа, менял стаканы с теплым чаем, менялись на трибуне и

люди.

Наконец объявили перерыв, и участники конференции метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там, в отличие от недавних времен, не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, обшитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил:

- Прямо-таки апартаменты...

- Стараемся, Михаил Петрович, - по-китайски закивал головой директор ДК.

- Оно и видно, - не по-доброму согласился БМП, надломив правую бровь. - Умеет столица жировать! Всю страну прожрет и не заметит...

Сказав это, Бусыгин подошел к столу, положил в чай один-единственный кусочек сахара и стал прихлебывать, не притронувшись к бутербродам. Остальные последовали его примеру. Мушковец постарался очутиться вблизи первого секретаря и, воспользовавшись случаем, завел разговор о задуманной вместе с Чистяковым серии мероприятий под условным названием «День рождения дома». В двух словах: молодые ребята из неформального объединения «Феникс» по субботам и воскресеньям восстанавливают ветхий жилфонд, имеющий историко-культурную ценность, а потом вокруг как бы возрожденного из пепла здания устраиваются народные гулянья с выступлением фольклорных и роковых ансамблей, лекциями краеведов, продажей прохладительных напитков и выпечки. БМП кивал, но лицо его было непроницаемо.

- Понимаете, Михаил Петрович, - канючил Мушковец, - на каждом таком доме теперь будут две мраморные таблички. Обычная: построен... архитектор... охраняется государством... И наша, особенная: дом восстановлен тогда-то, такими-то ребятами...

Не дослушав Василия Ивановича и даже ничего не сказав, Бусыгин вдруг широко распахнул объятия, дружественно заулыбался и пошел навстречу щупленькому пареньку-«афганцу», который наконец-то решился съесть бутерброд и от неожиданности уронил его на скатерть. Стакан чая из рук первого секретаря

ловко перехватили, он крепко обнял «афганца», похлопал по спине и начал расспрашивать, когда тот воевал, ранен ли, за что получил «Красную Звезду», как идет жизнь, нет ли проблем? Проблемы были: парень недавно женился, обзавелся ребенком, а жить негде...

БМП оглянулся на Мушковца и со словами: «Ну-ка, птица феникс, лети сюда!» – поманил его пальцем.

Когда через минуту-другую Василия Ивановича отослали прочь и он обреченно подошел к Чистякову, лицо зампреда исполкома было покрыто сиреневыми пятнами.

– Все понял? – тихо спросил он и начал нервно поедать бутерброды.

– Понял, – кивнул Валерий Павлович, отлично знавший, что в районе десятки неустроенных «афганцев» и что проблема эта не решится, даже если Мушковца прилюдно расстреляют в скверике перед райкомом партии.

– Надо катапультироваться! – промямлил набитым ртом Василий Иванович. – Теперь пора – по белой нитке ходим!

– Нашел что-нибудь?

– Да так... Тебе тоже советую. Не слушал дядю Базиля. Сейчас бы шнырк на кафедру и отсиделся в науке!

Уже много лет опытный Мушковец твердил Чистякову, что тот делает огромную ошибку, не работая над докторской диссертацией, ибо кандидатов нынче столько развелось, плюнь за окно – попадешь в кандидата. Но легко сказать: защищайся! А если к концу рабочего дня в голове полумертвая мешанина да одно-единственное желание – доползти домой и смыть скорее с лица это изматывающее выражение доброжелательной заинтересованности и государственной озабоченности. И если вместо того, чтобы выпить свои законные двести граммов, без чего Чистяков уже много лет не засыпает, а потом расслабиться у камина или телевизора, каждый божий вечер садиться за книги, однажды это закончится тем, что тебя выведут из Исторички тупо улыбающимся и завернутым в смирительную рубашку. Кстати, о камине... Это была совершенно идиотская, застойная выходка: в городской квартире! со спецдымоходом!! в счет

капремонта!!! И ведь Чистяков как чувствовал, до последнего отнекивался, мол, и с батареями не мерзну, а Мушковец стыдил, настаивал, других приводил в пример. БМП наверняка уже все знает, но помалкивает, потому что погреться у живого огонька захотелось не только Валерию Павловичу, и пока его теплолюбивые соседи будут сидеть на своих должностях, все будет тихо...

- Пойду прогуляюсь в фойе, - сообщил Чистяков и поставил стакан.

- К этой? Не ходи! - взмолился Василий Иванович. - Валера, я тебя прошу!..

Направляясь к двери, Чистяков лицом к лицу столкнулся с профессором Желябьевым, который даже поперхнулся чаем, сообразив, что вот сейчас прямо на глазах Бусыгина опальный секретарь может по старой дружбе обнять основного докладчика или в лучшем случае шумно поздравить его с прекрасным выступлением. И, как бы подтверждая эти опасения, Валерий Павлович немного замедлил шаг, но, увидев на потомственном профессорском личике смертельный испуг, презрительно усмехнулся и прошел мимо.

В фойе люди разминались перед новым двухчасовым сидением. Одни с недоумением разглядывали товар, только что сгоряча схваченный в околоприлавочной толчее, другие, собравшись группками, обсуждали ход конференции и очень хвалили Бусыгина.

Сквозь толпу активистов Чистяков продвигался медленно, многие знали его в лицо, бросались навстречу, тискали руку, он допускал, но любые попытки на ходу решить какой-нибудь горящий вопросик пресекал в корне: иначе до заветного стенда не добраться никогда. «Не-ет, люди меня знают, уважают! - думал секретарь райкома, чуть морщась от очередного крепкого рукопожатия. - Не-ет, мы еще поборемся!» Впрочем, краем глаза Чистяков заметил, что некоторые вхожие в райком низовые деятели, еще недавно кидавшиеся к нему с сыновней преданностью во взоре, подходить и здороваться не стали... «Вот она - желябьевщина!» - вздохнул Валерий Павлович и с гордостью припомнил, как сам он все-таки зашел в кабинет к «освобожденному» Ковалевскому проститься. Правда, зашел поздно вечером, когда в райкоме, кроме дежурного милиционера и шоферов, никого не осталось...

Надя Печерникова стояла возле стенда и, казалось, внимательно рассматривала диаграмму роста количества культурных учреждений в районе с 1917 года по

настоящее время. С абсолютного нуля кривая взмывала вверх, потому что еще совсем недавно на месте Краснопролетарского района стояли там и сям деревеньки, а Божьи храмы диаграммой не учитывались.

Чистяков не видел Надю больше десяти лет, с того самого вечера, когда они на квартире Желябьева отмечали защиту чистяковской диссертации. Валерий Павлович почему-то готовился увидеть поблекшую, ярко накрашенную даму, которая, гримасничая увядшим лицом, будет намекать на; их прошлые отношения, а потом что-нибудь обязательно попросит. Друзья молодости к нему просто так давно уже не ходят. И еще ему представлялось почему-то, что Печерникова непременно растолстела, оплыла и приобрела тот наступательный вид, какой замечаешь у людей, хорошо поработавших в школе или правоохранительных органах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/yuriy-polyakov/apofegey>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)